

Опиум интеллектуалов¹

Интеллектуалы и их родина

Все общества прошлого имели своих *писцов*, из которых состоял жреческий штат государственного или частного управления, своих *художников* или *литераторов*, передававших или, возможно, обогащавших культурное наследие, и своих *экспертов* — юристов, ставивших свое знание закона и искусство ведения споров на службу правителям, или ученых, раскрывавших тайны природы и учивших людей, как лечить болезни или выигрывать сражения. Несмотря на то, что ни одна из этих трех категорий людей, строго говоря, не создана нашей современной цивилизацией, последняя, тем не менее, имеет свои особые характеристики, влияющие на численность и статус интеллектуалов.

Распределение людских ресурсов между разными профессиями видоизменяется вместе с прогрессом экономического развития: растет процент людских ресурсов, занятых в промышленности, тогда как их количество, занятое в сельском хозяйстве, уменьшается; при этом небывало раздут так называемый третичный сектор, включающий множество профессий разной степени престижности — от клерка, работающего в своем офисе, до исследователя, занятого изысканиями в своей лаборатории. Современные индустриальные общества включают больше, как в абсолютных, так и в относительных цифрах, работников умственного труда, чем любое общество в прошлом. Увеличивается сложность организации, техники и управления, как если бы целью было сведение движений работника физического труда к совершенной простоте.

Современная экономика также требует пролетариев, умеющих читать и писать. По мере того, как повышается их уровень жизни, коллективы выделяют все больше денег на обучение молодых: среднее образование длится дольше и становится доступным все более широкому кругу людей в каждом новом поколении.

Три категории работников умственного труда — *писцы*, *эксперты* и *литераторы* — развиваются одновременно, а то и с одинаковой скоростью. Бюрократии создают места для низкоквалифицированных *писцов*, управление произ-

¹ Aron, Raymond. The Opium of the Intellectuals. New York: Doubleday & Company, Inc., 1957. PP. 203–235. Перевод с англ. Алексей Черняк. Ред. Тимофей Дмитриев.

водством и его организация требуют все более специализированных *экспертов*, школы, университеты, разнообразные средства развлечения или коммуникации дают работу *литераторам*, *художникам* или простым мастерам слова и пера, писакам и популяризаторам. Иногда участие в таких предприятиях низводит ученого или писателя до уровня второразрядного эксперта: писатель становится «переписчиком». Хотя значение этого не всегда полностью признается, рост числа рабочих мест остается важнейшим фактом, очевидным для всех.

Эксперты и *литераторы* не всегда представляли собой своего рода квази-республики, ревниво оберегающие свою независимость. Столетиями они были духовно неотделимы от духовенства, т. е. от тех, кто был призван поддерживать или интерпретировать церковные и государственные верования. В социальном отношении они зависели от тех, кто обеспечивал им средства к их существованию — от церкви, сильных мира сего и государства. Значение искусства, а не только ситуации художника, изменялось вместе с изменением источника власти или характеристик культурного класса. Искусство, созданное *верующими* и *для* верующих, сильно отличалось от искусства, патронируемого секулярными правителями или торговыми руководителями.

В наши дни ученые имеют авторитет и престиж, защищающий их от давления церкви (исключения редки и в целом незначительны). Свобода исследования, даже в вопросах, затрагивающих догму, редко оспаривается. По мере увеличения публичности и исчезновения патронов писатели и художники получают больше свободы, но меньше безопасности; и даже это обстоятельство является следствием того факта, что многие из них способны заработать себе на жизнь профессией, не связанной с их творческой деятельностью. Разумеется, ни частные работодатели, ни государство не склонны платить, не требуя *quid pro quo*; но кинокомпании или университеты, например, не навязывают свою ортодоксию за пределами студий или лекционных залов.

Наконец, всякий политический режим открывает определенные возможности перед теми, кто обладает способностью манипулировать словами и идеями. Теперь уже доступ к трону открыт не военному, полагающемуся на смелость или удачу, а оратору, человеку, знающему, как убедить толпу или парламент, или доктринеру, разрабатывающему систему мысли. Никогда не было недостатка в ученых или писателях, посвящающих свой талант оправданию режима, но в наши дни правительства нуждаются в экспертах по искусству речи. Теоретик и пропагандист соединяются в одном человеке; генеральный секретарь партии и разрабатывает доктрину, и руководит революцией.

Об интеллигенции

Более многочисленной, более эмансипированной, более влиятельной, стоящей ближе к власти — такой, похоже, стала в наше время социальная категория, которую мы неточно обозначаем термином «интеллигенция». Ее по-разному определяют и каждое из этих определений что-то разъясняет; а все вместе они помогают объяснить разнородные характеристики интеллигенции.

В самом широком смысле этот термин призван охватить всех работников умственного труда. Во Франции или в Англии никто не назовет офисного работника интеллектуалом, даже если он учился в университете и получил

ученую степень. Интегрированный в коллективное предприятие, низведенный до уровня ремесленника, выпускник университета — всего лишь рабочий, использующий в качестве инструмента печатную машинку. С увеличением числа работников умственного труда повышаются требования к качествам интеллектуала — другими словами, эти качества пропорциональны экономическому развитию. В отсталых странах любой выпускник университета становится интеллектуалом — и в известном смысле было бы правильно так его называть: молодой араб, приезжающий учиться во Францию, на самом деле, в отличие от своих соотечественников, усваивает все установки, типичные для литератора или ученого: «деревенский» экс-студент напоминает западного писателя.

Второе и более узкое определение распространяется только на *экспертов* и *литераторов*. Граница между «писцами» и экспертами довольно условна: существует постоянное движение из одной категории в другую. Некоторые эксперты, например, врачи, остаются независимыми — членами так называемых свободных профессий. Различие между работающими на себя и работающими по найму, которое иногда влияет на способ мышления, тем не менее, вторично: врачи, работающие в государственных лечебных учреждениях, не перестают быть интеллектуалами (если врачи вообще ими являются) просто потому, что они получают зарплату. Возможно, действительное различие касается природы умственного труда? Инженер или врач имеют дело с неорганической природой или живыми феноменами, а писатель или художник — со словами или субстанцией, которую он создает в соответствии со своими идеями. В этом случае юристы или администраторы, манипулирующие словами или людьми, принадлежали бы к той же категории, что и писатели или художники, тогда как на самом деле они ближе к экспертам, инженерам или врачам.

Эти двусмысленности возникают из соединения в концепции интеллектуала нескольких характеристик, которые не всегда даны одновременно. Лучший способ прояснить понятие — начать с очевидных случаев и постепенно переходить к более периферийным.

Поэты, романисты, живописцы, скульпторы и философы составляют внутренний круг: они живут интеллектуальными упражнениями и ради интеллектуальных упражнений. Если в качестве критерия берется ценность деятельности, планка будет постепенно опускаться от Бальзака к Эжену Сю, от Пруста к авторам «занимательных» историй в газетах. Художники, продолжающие творить без развития новых идей или новых форм, профессора в своих кабинетах, исследователи в своих лабораториях, составляют основу сообщества знания и культуры. Уровнем ниже располагаются журналисты, газетчики и работники радио, распространяющие чужие идеи и обеспечивающие коммуникацию между широкой публикой и избранными. В этом контексте ядром категории были бы творцы, а ее границей была бы плохо определенная зона, где популяризаторы перестают интерпретировать и начинают вводить в заблуждение, где, заинтересованные только в успехе или деньгах, рабы предполагаемых вкусов своей публики, они становятся безразличными к ценностям, которым они призваны служить.

Недостатком такого анализа является то, что он не учитывает два важных соображения: соображения, касающегося социальной ситуации и источни-

ка дохода, с одной стороны, и соображения, касающегося теоретической или практической цели профессиональной деятельности, с другой. С исторической точки зрения допустимо называть Паскаля или Декарта (первый принадлежал к «парламентской» буржуазной семье, второй — к рыцарству) интеллектуалами. Но в XVII столетии было бы немислимо отнести их к этой категории, поскольку они были любителями. Если судить по умственным способностям или природе деятельности, любители — интеллектуалы не в меньшей степени, чем профессионалы; но эта деятельность и эти способности не определяют их социальную принадлежность.² В современных обществах число профессий растет, а число любителей сокращается.

В другом смысле профессор права, кажется, больше заслуживает звания интеллектуала, чем адвокат или нотариус, а профессор политэкономии — больше, чем журналист, пишущий об экономике. В том ли причина этого, что последние обычно являются наемными работниками на капиталистическом предприятии, а первые — государственными служащими? Пожалуй нет, так как в первом примере адвокат — представитель свободной профессии, а профессор — функционер. Профессор кажется нам в большей степени профессионалом, потому что у него нет другой цели, кроме сохранения, передачи или увеличения знания ради самого знания.³

Этот анализ не позволяет нам догматически выбрать единое определение; он только показывает, что возможно много определений. Например, можно считать число экспертов одной из главных характеристик индустриальных обществ и, соответственно, отнести к категории «интеллигенции» категорию всех, кто получил в университетах или технических учебных заведениях квалификацию, необходимую для исполнения технически-бюрократических функций. С другой стороны, можно разместить на вершине интеллектуальной лестницы писателей, исследователей, ученых и людей, занимающихся творчеством и искусством, поставить чуть ниже учителей или критиков, еще ниже — популяризаторов или журналистов, а практиков — врачей, адвокатов, инженеров — вообще исключить из этой категории постольку, поскольку они всецело отдаются стремлению к практическому результату и теряют заинтересованность к культуре. В Советском Союзе наблюдается тенденция к реализации первого определения: техническая интеллигенция считается истинным представителем вида и даже писатели представляют собой «инженеров человеческих душ». На Западе второе определение выглядит предпочтительнее, хотя оно здесь стремится к еще большему сужению и фактически ограничивает интеллигенцию теми, чье «основное занятие — писать, учить, проповедовать, выступать на сцене или заниматься искусством или литературой».⁴

Термин «интеллигенция», похоже, первый раз был использован в России в XIX веке: те, кто учился в университете и приобщился к культуре, имевшей по большей части западное происхождение, составили маленькую группу,

² Применительно к Франции XVIII столетия легко определить категорию интеллектуалов: это — Дидро, энциклопедисты, так называемые «философы (philosophes)».

³ Эти два последних критерия, не будучи противоречащими один другому, заметно расходятся. Интеллигенция все больше и больше вовлекалась в практическую деятельность, управленческую или промышленную. Любители сохранились лишь среди ученых или исследователей.

⁴ Crane Brinton, *The Temper of Western Europe* (Harvard: Oxford, 1954).

не включенную в традиционную классовую структуру. Они были младшими детьми аристократов и детьми из буржуазных семей, а некоторые происходили из зажиточных крестьян. Оторванные от старого общества, они ощущали себя единой группой благодаря полученным знаниям и одинаковому отношению к существующему порядку. Все это, наряду с новым научным духом и либеральными идеями, склоняло их к революции.

В обществах, в которых современная культура развивалась, спонтанно и последовательно отдаляясь от традиционной почвы, разрыв с прошлым был менее резким. Выпускники университетов не так явно отличались от других социальных категорий; они не отрицали безоговорочно старое устройство общественной жизни. Тем не менее их обвиняли и до сих пор обвиняют в разжигании революций; левый интеллеktуал принял бы это обвинение как должное, подчеркивая, что без решимости революционеров преодолеть существующий порядок старые мерзости продолжали бы жить припеваючи.

В каком-то смысле это обвинение необоснованно. Не верно, что интеллеktуалы, как таковые, враждебны к любому обществу. Писатели и ученые древнего Китая «защищали и толковали» в большей степени моральную, нежели религиозную доктрину, которая выдвигала их в число первых лиц их общества и освящала существующую иерархию. Для королей и принцев, коронованных героев и богатых торговцев всегда находились поэты (не обязательно плохие), певшие им хвалу. Ни в Афинах, ни в Париже, ни в V веке до нашей эры, ни в XIX столетии нашей эры писатель или философ не склонялся спонтанно к партии народа, свободы или прогресса. Тех, кто восхищался Спартой, в немалом количестве можно было встретить внутри Афинских стен точно так же, как в наше время за столиками кафе Левого Берега можно встретить поклонников Третьего Рейха или Советского Союза.

Все доктрины, все партии — традиционализм, либерализм, демократия, национализм, фашизм, коммунизм — имели и продолжают иметь своих оракулов и своих мыслителей. В каждом лагере интеллеktуалы — это те, кто преобразует мнения или интересы в теории; по определению, им не достаточно просто жить, они хотят еще и *осмыслить* свое существование.

Тем не менее, остается доля истины в избитом определении интеллеktуалов как профессиональных революционеров, в более изящной форме взятом на вооружение некоторыми социологами (например, Шумпетером).

Интеллигенция никогда в теории и редко в действительности составляла замкнутое сообщество. Любой привилегированный класс, определяемый через знание и интеллеktуальные достоинства, должен разделять веру в продвижение по социальной лестнице в соответствии с личными достоинствами и заслугами. Платон принадлежал к аристократической партии, но, несмотря на это, полагал, что раб способен к обучению математическим истинам. Аристотель не отрицал социальную необходимость рабства, но он подорвал ее основания. Он отрицал, что каждый человек занимает то место, которое соответствует его природе; и, умирая, он освободил своих рабов, которые, возможно, не были рабами от рождения. В этом смысле профессиональному интеллеktуалу трудно не принять демократию *de jure*, хотя делая это, он может еще сильнее провозглашать аристократизм *de facto*: его мысль доступна только меньшинству.

В разных обществах интеллигенция формируется по-разному. В Китае система экзаменов, кажется, допускала попадание в эту категорию выходцев из крестьян, хотя можно спорить о том, насколько были распространены такие случаи. В Индии исключительность, приписывавшаяся мыслителям, не была несовместима с кастовой системой и удержанием каждого индивида в тех условиях, в которых он был рожден. В современных обществах университеты способствуют социальному продвижению, тогда как в некоторых странах Южной Америки или Ближнего Востока подобную возможность предоставляют военные академии. Хотя в западных странах социальное происхождение выпускников университетов различно, — до 1939 года студентами Оксфорда и Кембриджа были представители узкой социальной страты, а во французских колледжах в основном учились выходцы из состоятельных буржуазных семей и редко из рабочих или крестьян, — интеллигенция всегда представляет собой социально более широкую и открытую группу, чем правящий класс. И эта тенденция к демократизации становится все более явной по мере того, как растет потребность индустриального общества в кадрах и специалистах. В Советском Союзе увеличение интеллигенции работает на интересы властей, которые могут ставить в заслугу социализму то, что на самом деле представляет собой необходимое следствие экономического развития. Это же обстоятельство угрожает подорвать демократические режимы, если представители низших классов, пройдя через университеты, станут тосковать о радикальных социальных изменениях вместо того, чтобы примкнуть к системе ценностей и управления, созданной старым правящим классом. И этот риск все увеличивается, поскольку тенденция критиковать существующий порядок становится, так сказать, профессиональной болезнью интеллектуалов. Они всегда склонны судить о своей стране и ее институтах, сравнивая их с теоретическими идеалами, а не с другими странами и их институтами: сегодняшнюю Францию — с их собственной идеей того, чем Франция должна быть, а не со вчерашней Францией. Ни один человеческий институт не может выдержать такой проверки, не понеся определенный урон.

Интеллектуал — это человек идей и человек науки. Он разделяет веру в Человека и в Разум. Культура, распространяемая университетами, оптимистична и рационалистична: формы общественной жизни, доступные для критического исследования, выглядят скорее результатом случайной работы времени, чем выражением проницательной воли или продуманного плана. Интеллектуал слишком уж готов вынести окончательное суждение об «укоренившемся беспорядке».

Трудности начинаются тогда, когда обвинения теряют реалистический характер. Логически этот процесс можно разделить на три этапа. Осуществляя *техническую критику*, интеллектуал ставит себя на место управленца или администратора и предлагает средства, способные смягчить зло, о котором он сожалеет; он принимает неизбежные политические ограничения, издавна сложившуюся структуру коллективов, иногда даже законы существующей власти. Он основывается не на идеалистических посылах, теоретической идее светлого будущего, а на результатах, которые доступны при наличии достаточного здравого смысла или доброй воли. *Моральная критика* использует против вещей как они есть смутное, но властное понятие вещей, какими

они должны быть. Она разоблачает жестокости колониализма, капиталистическое отчуждение, противопоставление хозяев и рабов, постыдное соседство вопиющей роскоши и крайней нищеты. Даже не имея никакого представления о последствиях этого возмущения или о средствах его воплощения в действительность, моральный критик чувствует, что не может не высказывать его. Наконец, есть *идеологическая* или *историческая критика*, направленная против существующего общества во имя общества будущего. Эта критика приписывает несправедливости, оскорбляющие человеческую совесть, самой сущности существующего порядка (капитализм и частная собственность не могут не быть источником эксплуатации, империализма и войны) и схематично представляет радикально иной порядок, в котором человек выполнит свое истинное призвание.

Каждый из этих видов критики имеет свою функцию и свое достоинство; но каждому из них угрожает и свой вид деградации. За критикой «техников» стоит неисправимая природа консерватизма: ни люди, ни неподатливые нужды общественной жизни не изменяются. «Моралисты» колеблются между фактическим смирением и непримиримостью на словах: сказать всему «нет» означает в конечном счете все принять. Где следует провести черту между несправедливостями, неотделимыми от существующего общественного устройства или любого мыслимого общества, и принуждением и несправедливостью, присущими индивидам и относящимися к сфере этической оценки? Что касается идеологической критики, то она вполне готова играть за обе стороны. Против одной половины мира эта критика — моралистическая, но она выписывает индульгенцию реалистическому, в конечном счете, революционному движению. Вина никогда не может быть удовлетворительно доказана, если дело рассматривается в американском суде. Репрессий никогда не бывает слишком много, если они направлены против контрреволюционеров. Это — система, соответствующая логике человеческих страстей. Сколько интеллектуалов пришли в революционную партию путем морального возмущения только для того, чтобы, в конце концов, попустительствовать террору и самовластию?

Каждая нация имеет склонность к той или иной форме критики. Англичане и американцы стремятся к сочетанию технической и моральной критики; французы колеблются между моральной и идеологической критикой (споры между «бунтарями» и «революционерами» — типичное выражение этой неопределенности). Возможно, моральная критика в большинстве случаев является источником критики всех остальных видов, по крайней мере, постольку, поскольку дело касается интеллектуалов. Этим они также заслужили славу «искоренителей неправды» и противников компромисса, а также менее лестную репутацию профессиональных словоблудов, игнорирующих грубую правду жизни и ограничения свободы действий.

Критика уже давно не воспринимается как доказательство смелости, по крайней мере, в наших западных обществах. Публика предпочитает находить в своих газетах аргументы, которые бы оправдывали ее негодование или ее претензии, нежели выслушивать доводы, что в данных обстоятельствах действия правительства вряд ли могли быть иными. Критикуя, уходишь от ответственности за нежелательные последствия применения средства,

которое в целом может быть весьма желательным. Оппозиционер, какую бы жестокую полемику он ни вел, редко страдает за свои, так сказать, ереси. Подписать петицию в защиту Розенбергов или против вооружения Западной Германии, выступить с разоблачением буржуазии как бандитской шайки или регулярно вставать на сторону тех, от кого готовится защищаться Франция — ничто из этого не повредит карьере даже государственного служащего. Как часто привилегированные приближали к себе писателей, осыпавших их проклятиями! Американские бэббиты во многом ответственны за успех Синклера Льюиса. Буржуазия и выходцы из этого сословия, заклеянные писателями прошлого как обыватели, а настоящего — как капиталисты, были спасением для бунтарей и революционеров. Успех стоит на стороне тех, кто преобразует прошлое или будущее: сомнительно, возможно ли в наши дни безнаказанно защищать умеренное мнение, что настоящее во многих отношениях не лучше и не хуже, чем любой другой период.

Политика и интеллигенция

На первый взгляд, отношение интеллектуалов к политике очень похоже на отношение к ней неинтеллектуалов. Мнения учителей или писателей содержат ту же смесь полужнания, традиционных предубеждений, а также предпочтений, носящих скорее эстетический, нежели рациональный характер, что и мнения торговцев или промышленников. Один известный романист выплеснет свою ненависть к конформистской буржуазии, из которой он сам произошел; другого запоздало привлечет советская система, несмотря на явную несовместимость его философии с диалектическим материализмом, как это происходит с почти всеми леваками на той или иной стадии.

Объединения врачей, учителей или писателей с не меньшей энергией отстаивают свои профессиональные интересы, чем профсоюзы рабочих. Кадры защищают иерархию; верхнее звено управляющих производством часто враждует с капиталистами и финансистами. Интеллектуалы на государственной службе считают ресурсы других социальных категорий чрезмерными. Находясь на службе у государства и получая фиксированные доходы, они склонны осуждать мотивы выгоды.

Позицию интеллектуалов можно также объяснить ссылкой на их социальное происхождение. Во Франции для того, чтобы понять это, достаточно всего лишь сравнить интеллектуальный климат различных факультетов — как преподавателей, так и студентов. Высшая Нормальная Школа — левая или крайне левая, Институт Политических Исследований, за исключением малочисленной группы — консервативный или умеренный. Это, конечно, должно иметь какое-то отношение к набору студентов. В провинциальных университетах каждый факультет имеет свою политическую репутацию: медицинский факультет и факультет права обычно считаются «более правыми», чем факультет словесности или естественнонаучные факультеты: в обоих случаях социальное происхождение и стандарты жизни преподавателей до некоторой степени влияют на их политические мнения.

Профессиональные соображения также могут играть в этом свою роль. Студенты Высшей Нормальной Школы с улицы Ульм сейчас смотрят на политиче-

ские проблемы в терминах марксистской или экзистенциалистской философии. Враждебные капитализму и озабоченные «эмансипацией» пролетариата, они по-прежнему мало что знают как об одном, так и о другом. Студент, изучающий политические науки, знает меньше об «отчуждении» и больше о том, как функционируют политические режимы. (До некоторой степени то же самое можно сказать не только о студентах, но и о преподавателях). Профессиональный интеллектual неизбежно переносит в политическую сферу мыслительные привычки, которые он приобрел, следуя своему призванию. Например, занятие медициной не способствует оптимистическому взгляду на человеческую природу: хотя врачи часто являются гуманитариями, они также озабочены сохранением статуса своей профессии как свободной и относятся к амбициям реформаторов с известной долей скептицизма.

Подобного рода анализ следовало бы дополнить сравнением одних и тех же профессий в разных странах или разных специалистов в каждой из этих стран, и тогда он, очевидно, мог бы привести к полноценной социологии интеллигенции. В отсутствие подобного сравнения этот анализ может лишь обозначить обстоятельства, оказывающие решающее влияние на мнения интеллектualов, и выявить некоторые национальные особенности.

Ситуацию интеллигенции можно определить по ее связям с церковью и с правящими классами. Ясно, что отдаленная причина противоположности между идеологическим климатом в англосаксонских и латинских странах лежит в успехе Реформации и существовании множества религиозных сект, в одном случае, и провале Реформации и силе Католицизма, в другом.

Средневековая Европа знала скорее «клириков», чем интеллектualов. Ученые и писатели были в основном связаны с церковными институтами, включавшими университеты. Даже в тех случаях, когда университетские профессора были мирянами, они не вступали в споры со служителями церковной власти, которая была прочна и признана. Разные категории современной интеллигенции формировались постепенно: юристы и государственные служащие зависели от монархии; ученым пришлось сражаться за право свободного исследования против сковывающего догматизма; поэты и писатели, выходцы из буржуазии, искали покровительства великих и могли зарабатывать на жизнь пером и благосклонностью публики. Столетиями шла последовательная эволюция в сторону секуляризации интеллигенции, и теперь она полностью секулярна. Сочетание в одном человеке функций ученого (или философа) и священника сейчас выглядело бы причудливо. Конфликт между духовенством и интеллектualами или между духовной властью веры и властью разума достиг примирения в странах, где Реформация была успешной. Гуманитаризм, социальные реформы, политические свободы оказались совместимыми с христианской проповедью. Ежегодный конгресс Британской Лейбористской партии открывается молитвой. Во Франции, Италии и Испании, несмотря на движения христианских демократов, партии, опирающиеся на идеалы Просвещения или на социалистические идеи, в целом видят в Церкви врага.

Взаимоотношения интеллектualов с правящим классом носят двусторонний характер. Чем дальше интеллектualы от забот тех, кто правит, управляет или создает блага, тем больше последние дают выход своей внутренней вра-

ждебности и презрению к «словоблудам». Чем упорнее привилегированные классы сопротивляются современным идеям, чем более они оказываются неспособны обеспечивать национальную мощь и экономический прогресс, тем более интеллектуалы склонны к диссидентству. Кроме того, на их суждения о людях дела влияет то, насколько престижным в данном обществе считается быть человеком идей.

Благодаря двойному успеху Реформации и Революции XVI и XVII столетий британская интеллигенция никогда не ощущала себя втянутой в перманентный конфликт с Церковью и правящим классом. Она, конечно, регулярно поставляла из своих рядов необходимый контингент нонкомформистов, без которых ортодоксия задушила бы всякую критику ценностей и институтов. Но полемика, которую вела британская интеллигенция, всегда была ближе к фактическому опыту и менее склонна к метафизике, чем полемика интеллектуалов на континенте, особенно во Франции. Британские политики и люди дела всегда были достаточно уверенными в себе, чтобы не чувствовать какого-то глубокого отвращения или враждебности к писателям или ученым. А последние, со своей стороны, никогда не были изолированы от богатых и власть имущих: им было даровано место в элите — правда, не в передних рядах — и они редко мечтали о полной смене власти. Часто они сами принадлежали к правящему классу. На требования реформ довольно быстро отвечала сама политико-экономическая система, что позволяло не ставить вопрос о ее сломе.

Во Франции на протяжении всего XIX столетия форма государства никогда единогласно не принималась; спору между традицией и революцией не было видно конца. Интеллектуалы составляли, так сказать, оппозицию по привычке — не только тогда, когда институты парламентаризма были поставлены под угрозу монархией, но и тогда, когда Бонапарт эксплуатировал демократические принципы или когда Республика оказывалась слишком благодушной или слишком враждебной к социалистам.

Таким образом, во Франции любого кризиса — например, кризиса 1934 года или 1940-го — было достаточно, чтобы оживить старые дразги. Даже Великобританию потрясли трудности 1930-х годов. И там, и в Америке интеллектуалы, столкнувшись с экономическим кризисом, испытали искушения революционного диссидентства и миража советского рая. Но коммунизм и фашизм остались там периферийными явлениями, тогда как во Франции они были центральными темами, и в который раз страна и ее повседневные проблемы были забыты в идеологическом наваждении.

Каждая страна имеет свои собственные особые традиции политического мышления. Одни и те же доктрины или идеологические образования можно обнаружить во всех западных странах — консерватизм, либерализм, социальный католицизм, социализм. Но распределение идей между партиями различается⁵, всегда разнятся и их политические темы или философские основания. Экономический либерализм — свободная торговля и частное предприни-

⁵ Более того, идеи часто кочуют из одной партии в другую. В 1815, 1840 и 1870 партии правого крыла были настроены пацифистски и не склонны сражаться до последнего вздоха. А революционный патриотизм был воинственен и размахивал знаменем. Только в XX веке левые стали пацифистами, а правые — националистами. Отношения правых и левых к внешней политике часто меняются на противоположные. Перед лицом гитлеризма правые были настроены

мательство — был теснее связан с социальным консерватизмом во Франции, чем в Великобритании; он стремился скорее воспрепятствовать принятию социального законодательства, чем ликвидировать допотопные методы и подходы в сельском хозяйстве и промышленности. На другой стороне Ла-Манша никогда не были известны расхождения между демократией и либерализмом, парламентом и республикой. Определенные идеи, возможно аналогичные по своим последствиям, развивались по-разному; в одном месте — в терминах словаря, взятого из утилитаристской философии, в другом — в терминах абстрактного рационализма, соединенного с якобинской интерпретацией прав человека, в третьем — в гегельянских или марксистских терминах.

Если смотреть под другим углом зрения, интеллектуалы также тесно связаны с национальным сообществом: они *переживают* судьбу своей страны в особо острой форме. Подавляющее большинство германских интеллектуалов при империи Гогенцоллернов были лояльны режиму. Выпускники университетов, занимавшие высокое место в иерархии престижа, были кем угодно, только не революционерами. За несколькими исключениями им была безразлична форма правления — была ли то монархия или республика; в то же время этот вопрос страстно волновал их французских коллег. Осознавая социальные проблемы, которые темпы индустриализации делали в Германии более острыми, чем во Франции, они искали решения в реформах, не выходящих за рамки имперского капитализма. В университетах было мало марксистов и они в основном относились к маргинальной части интеллигенции. Поскольку немецкие писатели и художники, в отличие от французских, имели более низкий статус по сравнению с профессорами, они, вероятно, были в меньшей степени интегрированы в правящий режим. Особенно типичным отражением контраста между двумя странами были националистические тенденции большинства немецких преподающих профессоров и левацкие убеждения большинства французских.

Позже диссидентские настроения большей части немецкой интеллигенции при Веймарской республике были порождены квазиэстетической враждебностью к серому и тусклому режиму, возглавляемому людьми из народа или мелкими буржуа, а более всего — унижением вследствие поражения страны в войне. Рабочего или крестьянина возмущает любой удар по независимости или процветанию его страны; интеллектуал более чувствителен к ослаблению национального престижа. Он может верить, что его не волнует его собственное благосостояние или власть, но он никогда не безразличен к славе его нации, так как объем и влияние его труда отчасти зависит от нее. Пока его страна имеет большое войско, он старается не замечать этой связи, но ему оказывается трудно смириться, когда дух истории, а вместе с ним и центр власти, перемещаются в другую интеллектуальную среду. Гегемония Соединенных Штатов больше страшит интеллектуалов, чем простых смертных.

Влияние национальной судьбы на взгляды интеллигенции иногда проявляется в экономической сфере. Безработица, отсутствие карьерного роста, неперклонность старшего поколения или иностранных хозяев — на все это

на Мюнхенский сговор и коллаборационизм; перед лицом Сталинизма подобные настроения царили среди левых.

интеллектуалы реагируют более резко, чем другие социальные категории, так как более амбициозны и имеют более широкий диапазон средств достижения цели. Они полны искреннего негодования перед несправедливостью, нищетой и угнетением других людей: как же они могут молчать, когда дело касается непосредственно их самих?

В XX столетии революционные ситуации всегда будут возникать там, где есть неудовлетворенные, безработные бывшие студенты. В Германии Великая депрессия, последовавшая через десять лет после поражения в войне, выбросила на улицы сотни тысяч претендентов на полуинтеллектуальные рабочие места, и революция того или иного вида казалась единственным возможным итогом всего этого. Монополизация рабочих мест французами в Тунисе и Марокко была питательной средой для разочарования арабских выпускников французских университетов и неуклонно подталкивала их к восстанию.

Где бы старые правящие классы — землевладельцы, богатые торговцы, племенные вожди — ни сохраняли квазимонополию на власть и блага, расхождение между тем, что обещает рационалистическая культура Запада, и тем, что она действительно дает, между устремлениями молодых интеллектуалов и их возможностями, постепенно порождает страсти, которые обстоятельства неумолимо направляют против колониального господства или против реакции в сторону национальной или марксистской революции.

Даже западные индустриальные общества оказываются в опасности, когда рассерженные эксперты в поисках практического действия и мрачные *literati* в поисках идеи объединяются против режима, виновного в неспособности пробудить или патриотическую гордость, или внутреннее удовлетворение от участия в великом общем деле. Может быть, результат их деятельности и не будет в точности соответствовать их ожиданиям: в этом случае идеологи могут купить относительную безопасность, расточая похвалы власть имущим, в то время как техническая интеллигенция может найти успокоение, строя электростанции.

Рай интеллектуалов

Францию считают раем для интеллектуалов, а французские интеллектуалы имеют тенденцию быть революционерами: соединение этих двух фактов выглядит довольно таки парадоксальным. Английских *авангардных* писателей, имена которых, вероятно, не известны в Парламенте, переполняет восторг, когда они приезжают в Париж и устраиваются в Сен-Жермен де Пре. Они вдруг обнаруживают живой интерес к политике — предмету, скучная трезвость которого дома не привлекала к себе их внимания. И, конечно, дискуссии, которые они услышат в Париже, построены так искусно, что не могут не увлечь тех, кто живет разумом. Последняя статья Жан-Поль Сартра представляет собой политическое событие или, по крайней мере, ее так воспринимает круг людей (хотя и узкий), убежденных в своей собственной значимости. Политические амбиции успешных французских романистов сталкиваются с литературными амбициями французских государственных деятелей, которые мечтают о том, чтобы написать роман, так же, как другие мечтают о том, чтобы стать министрами.

Скажут, что это — поверхностное впечатление, что это — рай только в представлении туриста. Немногие интеллектуалы могут жить на деньги от своего творчества. Школьные учителя и университетские профессора вынуждены работать за скромную зарплату, ученые — в плохо оборудованных лабораториях. Можно рассуждать об интеллектуале, имеющем в достатке славу и величие, который, тем не менее, подчиняет свое перо служению малопонятной революции, но при этом забывают обо всех тех, кто озлоблен контрастом между доходами (недекларированными) бизнесменов, владельцев магазинов, хирургов и адвокатов и скромностью условий их собственной жизни.

Интеллектуалы не менее чувствительны к экономическим проблемам, чем другие французы. Есть писатели, воображающие, что государственные издания увеличили бы объемы продаж их книг; есть ученые, воображающие, что коммунистический режим безоговорочно предложит им средства производства, которые Республика для них жалеет. Другие смотрят дальше, через Атлантику, где некоторые мастера письменного слова, которых трудно назвать интеллектуалами, получают значительные доходы.⁶ Щедрость больших компаний, преобразующих литературный дар в ценную собственность, или щедрость государства, единственного покровителя искусств и наук, легко может породить зависть среди интеллектуалов страны, которая слишком мала, чтобы ее капиталисты или ее казна могли позволить себе такую щедрость.

Я все равно сомневаюсь, что подобное объяснение затрагивает существо дела. Разрыв между заработком квалифицированного рабочего и зарплатой университетского профессора во Франции, по крайней мере, так же велик (а то и больше), как в Соединенных Штатах. И то, что более экзальтированные формы литературной деятельности могут приносить меньший доход, чем менее экзальтированные, — не специфически французское явление. Те, кто посвятил себя подлинно творческой работе — будь то ученые, философы, поэты или серьезные романисты — пользуются реальным престижем и почти полной свободой. Почему так много интеллектуалов выступают против общества, обеспечивающего их достойными условиями жизни (учитывая коллективные ресурсы страны), не чинящего им препятствий и ставящего умственный труд в разряд высших ценностей?

Идеологическая традиция рационалистически и революционно настроеннойлевой дает более верное объяснение терминам, в которых выражает себя диссидентство французской интеллигенции. Большинство интеллектуалов, интересующихся политикой, раздражены, потому что они чувствуют, что их обманом лишили того, что им причитается. Покорные или бунтующие, они, похоже, вопиют в пустыне. Четвертая Республика, подчиненная не отличающимся постоянством директивам парламента, не имеющего общей доктрины, противоречивым требованиям различных влиятельных групп, разочаровывает как верноподданных, так и бунтарей. Она полна негативных достоинств, консервативна перед лицом изменяющегося мира.

Не один только режим отвечает за явный разрыв между интеллектом и действием. Интеллектуалы во Франции кажутся более интегрированными в социальный порядок, чем где-либо, потому что люди думают только о париж-

⁶ Авторы в журнале *Times* могут получать до \$30000 в год.

ских кругах, где романист может занимать положение, равное или даже более высокое, чем государственный чиновник. Писатели без какого-либо авторитета, могут собрать большую аудиторию, даже рассуждая о вещах, незнанием которых они открыто гордятся — явление, немислимое в Соединенных Штатах, Германии или Великобритании. Традиции *салонов*, в которых председательствуют женщины или дилетанты, разрешено продолжать существовать в век технологии. Общая культура все еще может позволить мило рассуждать на политическую тему, но она не защищает от глупости и не дает представления о том, какие именно реформы следует рекомендовать. В каком-то смысле интеллигенция во Франции менее приспособлена для политического действия, нежели где-либо еще.

В Соединенных Штатах, Великобритании и Германии идеи и персонал никогда не прекращали перемещаться из среды экономистов в среду управляющих банковским и промышленным секторами, из среды управляющих в среду высших должностных лиц, а также циркулировать между серьезной прессой, университетами и правительством. Большинство французских бизнесменов никогда не встречали экономиста и до последнего времени — конфиденциально — презирали их. Французские должностные лица совершенно равнодушны к советам ученых, а журналисты имеют редкие контакты как с теми, так и с другими. Ничто так не способствует национальному процветанию, как обмен знаниями и опытом между университетами, редакциями, государственными службами и парламентом. Политиков, руководителей профсоюзов, промышленников, университетских профессоров и журналистов не нужно ни мобилизовывать в единую партию, имеющую монополию на власть, ни отрезать друг от друга незнанием и предубеждениями. В этом отношении ни один правящий класс так плохо не организован как французский.

Французский писатель не осуждает своих правителей за пренебрежение учениями политической и экономической наук. Он больше осуждает американскую цивилизацию за презрение к ученым и мыслителям как таковым и использование интеллектуалов только в качестве экспертов. С другой стороны, экономист или социолог сокрушается о том, что наши политики больше подвержены очарованию капиталовложений, чем — беспристрастной консультации. Обе партии кончают тем, что незадействованные, безответственные, опьяненные негодованием, объединяются в интересах революции, которая для одних сводится к грандиозному усилию по увеличению производства, а для других разрастается в трансформацию истории.

Потеря власти, благосостояния и престижа — общие проблемы для всех наций Старого света. Франция и Великобритания вышли из двух мировых войн такими же истощенными, как и Германия, побежденная дважды. Превосходство Соединенных Штатов в благосостоянии на душу населения и потенциальной власти в любом случае добавилось бы к их естественному демографическому превосходству. Тем не менее, без двух войн XX столетия Франция и Великобритания продолжали бы быть значительными фигурами в мире и финансировать свой импорт без больших трудностей благодаря внешним инвестициям. В настоящее же время, когда им угрожает континентальная империя у их порога, они с трудом могут жить без внешней помощи и чувствуют себя неспособными самим себя защитить в то время, как пропасть между

американской и европейской производительностью, похоже, расширяется вместо того, чтобы сужаться. Как можно ожидать, что европейцы простят тех, кто нажился на последствиях их безумия — если можно считать положение гегемона завидным? Даже если бы американцы были безупречны, европейцам было бы трудно не возмущаться подъему, так контрастирующему с их собственным упадком. К счастью, американцы не безупречны.

Это — вполне нормально, когда другие ругают лидирующую нацию. Великобританию никогда особо не любили во времена ее господства в мире. После второй мировой войны британская дипломатия возвратила себе некоторый престиж, поскольку она уже больше не принимает главных решений и приняла на себя роль критика, советника и рефери, накладывающего вето и извлекающего выгоду в своих переговорах с коммунистическим лагерем из того уважения, которое внушает Москве и Пекину сила Америки. Несоответствие между действительным поведением Америки и европейской версией ее действий требует другого объяснения. В широком смысле послевоенная американская дипломатия соответствует как негативным, так и позитивным желаниям европейцев. Массой подарков и займов Америка внесла вклад в экономическое возрождение Старого света; она не сделала ни одной односторонней попытки освобождения стран Восточной Европы; она немедленноотреагировала на агрессию со стороны Северной Кореи, но отказалась пойти на риск и жертвы, сопряженные с ведением тотальной войны, и она не поддавалась искушению спасти Францию в Индокитае. В вину ей можно поставить только два явных случая — пересечение 38-й параллели — решение, которое все еще можно оправдать, — и непризнание Пекина, что следует признать менее значительной ошибкой.

Фундаментально стратегия Соединенных Штатов не слишком отличалась (в том, что касается действий) от тайных желаний большинства европейцев, включая интеллектуалов. Но что тогда дает повод для недовольства или каковы его бессознательные мотивы? Я могу перечислить три таких повода в порядке возрастания их важности. Прежде всего, Соединенные Штаты в своей ненависти к коммунизму и страхе перед ним иногда заходят так далеко, что поддерживают «феодалные или реакционные» правительства (в этой связи существует хорошо отлаженная пропаганда, готовая назвать любого активного антикоммуниста «марионеткой» или «реакционером»). Во-вторых, Соединенные Штаты благодаря обладанию некоторым запасом атомных бомб стали символически ответственными за возможность третьей мировой войны. (Но когда мистер Хрущев похвастался, что Советский Союз первым создал водородную бомбу, его замечание не попало в коммунистические агентства новостей: Советский Союз прилагает не меньше усилий к созданию ядерного оружия, чем Соединенные Штаты, но в целом не говорит об этом так много, как они). Наконец, и это кажется мне решающим поводом, руководители Соединенных Штатов обвиняются в признании, и, как следствие, пособничестве увековечиванию, разделения мира на два противоборствующих блока: а такая интерпретация неизбежно низводит нации Западной Европы в положение подчиненных.

Еще совсем недавно Париж и Лондон смотрели свысока на национализм центрально- и восточноевропейской интеллигенции, обменивались шутка-

ми по поводу «балканизации» и т. п. Но так ли уж сильно отличается от этого национализма национализм, проникший с тех пор в левое крыло французских интеллектуалов? Нации, называющие себя великими, не более разумно реагируют на падение их власти и престижа, чем так называемые малые нации реагировали на свое внезапное возрождение. Нет более популярного лозунга, чем запущенный коммунистами лозунг «национальной независимости». И все же не нужно обладать какой-то особой проницательностью, чтобы видеть судьбу Польши или Чехословакии, или каким-то выдающимся умом, чтобы сравнить военные ресурсы Франции с нуждами европейской обороны. Французский интеллектуал, противящийся всякой коллективной организации дипломатии или военных ресурсов Запада, не менее допотопен, чем польский интеллектуал, ревниво требовавший свободы дипломатического маневра для своей страны в период между 1919 и 1939 годами. И, более того, последний вплоть до 1933 года имел оправдание в виде слабости двух европейских держав — Германии и России.

Эти соображения не следует расценивать как какой-то особый призыв к Европейскому Оборонительному Сообществу, намерения которого были лучше, чем его институты. Существует множество существенных возражений против федерального государства, составленного из шести держав. Не исключена даже возможность выбора в пользу защиты Европы Америкой без какого-то строгого договора или альянса и без размещения американского контингента на Рейне и Эльбе. Но интеллектуалов не трогают такие сложные аргументы: все, что их интересует — это идея Европы, получившей назад свою свободу действий — по крайней мере, так себя ощущающей. Переживаемые ими эмоции — не совсем эзотерические, они не чужды и остальным их соотечественникам. Простые люди слишком расположены негодовать по поводу чересчур могущественного союзника, слишком склонны сокрушаться по поводу слабости нации, испытывать ностальгию по прошлой славе и надеяться на лучшее будущее. Но интеллектуалы должны сдерживать эти популярные эмоции, должны демонстрировать неотвратимую решимость к постоянной солидарности и взаимозависимости. Но вместо того, чтобы исполнять роль поводырей, они предпочитают, особенно во Франции,⁷ предать свою миссию, поощрять темные чувства масс, приводя для них лицемерные оправдания. На самом деле, их спор с Соединенными Штатами — это способ рационализации их собственной вины.

В большинстве стран интеллектуалы настроены более антиамерикански, чем простые люди. Некоторые выпады Сартра во время Корейской войны или дела Розенбергов напоминают выпады нацистов против евреев.⁸ Соединенные Штаты представлены как воплощение всего самого ненавистного,

⁷ Я говорю не о коммунистах или их попутчиках. Они честно делают свою работу в интересах Советского Союза.

⁸ «В одном вы не можете проиграть, потому что мы не хотим никому причинять зла: мы отказываемся превращать в ненависть презрение и ужас, которые вы у нас вызываете. Но вы никогда не заставите нас признать казнь Розенбергов “достойным сожаления инцидентом” или даже судебной ошибкой. Это — легальный суд линча, запятнавший всю нацию кровью и провозгласивший раз и навсегда вашу крайнюю неспособность взять на себя лидерство в западном мире....»

после чего все негодование и вся ненависть и досада, накопившиеся в сердцах людей в трудные времена, выплескиваются на эту символическую фигуру.

Квазиединодушное отношение французских интеллектуалов к делу Розенбергов кажется мне одновременно показательным и довольно-таки странным. После оккупационных государственных трибуналов и освободительных народных судов французы не могут претендовать на наличие у них особо обостренного чувства справедливости. Мягкосердечными интеллектуалами из *Les Temps Modernes* или *Esprit* ни в малейшей степени не двигал избыток послевоенного чувства очищения: на самом деле они были среди тех, кто жаловался на недостаток решимости, выказываемой временным правительством в репрессиях против коллаборационистов. Они также однозначно выражали сочувственное понимание судебных процессов, практиковавшихся в Советском Союзе. Почему же тогда в отношении дела Розенбергов они испытывают возмущение, подобное тому, какое их деды (вполне искренне) выказывали в отношении дела Дрейфуса? Эти люди, осуждавшие «государственные соображения» и ненавидевшие «справедливость военного времени», вряд ли стали бы принимать участие в компании в защиту Розенбергов.⁹ Достоин сожаления то обстоятельство, что судья должен был вынести смертный приговор за деяния, совершенные в то время, когда Советский Союз был союзником, а не врагом. Длительное заключение сделало казнь еще более жестокой мерой, чем та, какой она выглядела бы в ином случае, и, естественно, вызвало симпатию и сострадание. Но приговор судьи, не противоречащий закону, требовал выражений сожаления или неодобрения (если согласиться с вердиктом присяжных), но не злых обличений моралиста. Виновность Розенбергов была по меньшей мере крайне вероятна. Коммунистическая пропаганда не использовала этот случай, пока несколько месяцев спустя после процесса партийные лидеры не поняли, что, впервые партийные активисты, обвинен-

Но теперь, поскольку вы поддались своему преступному безумию, это безумие может вернуть нас в хаос войны на уничтожение. Никто в Европе не сомневается в этом: помиловал или казнил Розенбергов вы либо открыли бы путь к миру, либо — к мировой войне....

Что можно сказать о стране, лидеры которой вынуждены совершить ритуальное убийство, чтобы извинить себя за прекращение войны?

И ни к чему заявлять, что ответственность лежит на нескольких экстремистах или безответственных элементах: эти люди — хозяева вашей страны, так как именно им подчиняется ваше правительство. Вы помните Нюрнберг и вашу теорию коллективной ответственности? Ну так это к вам сегодня ее нужно применить. Вы коллективно ответственны за смерть Розенбергов: вы либо спровоцировали это убийство, либо допустили его. Вы позволили Соединенным Штатам стать колыбелью нового фашизма. Ничего не даст ответ, что это единичное убийство несравнимо с гитлеровскими гекатомбами: фашизм определяется не тем, кто убийца, и не количеством жертв, а способом их убийства....

Убив Розенбергов, вы очень легко попытались положить конец прогрессу науки посредством человеческого жертвоприношения. Мы возвращаемся в век черной магии, охоты на ведьм, аутодафе и человеческих жертвоприношений. Ваша страна больна страхом. Вы боитесь всего — советского, китайского, европейского; вы боитесь друг друга; вы боитесь тени ваших собственных бомб....

Но не удивляйтесь, если услышите крик из одного конца Европы в другой: «Осторожно, Америка подхватила бешенство. Надо отделиться от нее, чтобы не быть искусанными и зараженными» («Les Animaux maladies de la Rage», *Liberation*, 22.06.1953).

⁹ В Британии, где люди все еще лелеют чувство справедливости, коммунистическая компания в защиту Розенбергов потерпела неудачу.

ные в атомном шпионаже, до самого конца отрицали, что совершили деяния, которые любой правильный сталинист должен был бы считать совершенно законными. Эта пропаганда успешно преобразовала приговор, несомненно жесткий из-за влияния политической атмосферы того времени и не делающий скидок на общественное мнение, господствовавшее в момент совершения преступления, в судебную ошибку. Успех компании во Франции можно объяснить не столько стремлением к справедливости или эффективностью психотехнологий, сколько сильным желанием дискредитировать Соединенные Штаты.

Парадокс становится еще более экстравагантным, если вспомнить, что во многих отношениях ценности, к которым призывают Соединенные Штаты, трудно отличить от тех, которые неустанно провозглашают их критики. Низкий уровень жизни рабочего класса, социальное и экономическое неравенство, экономическая эксплуатация и политическое угнетение — вот социальные пороки, которые не перестает разоблачать левая интеллигенция; в противовес этому она выступает за более высокий уровень жизни, сглаживание классовых различий и увеличение индивидуальных и профсоюзных свобод. Официальная идеология по другую сторону Атлантики насквозь пропитана этим идеалом и защитники «американского образа жизни» могут справедливо утверждать, что их страна подошла к этой цели, по меньшей мере, так же близко, как и любая другая (а возможно, ближе).

Европейские интеллектуалы негодуют по поводу общего успеха Соединенных Штатов в этом отношении или по поводу их частичного неуспеха? Они открыто упрекают Соединенные Штаты в противоречии между их идеалом и их реальностью, самым известным примером и символом которого является судьба негритянского меньшинства. Тем не менее, несмотря на глубоко укорененные американские расовые предубеждения, дискриминация становится все менее суровой, а условия жизни негров стабильно улучшаются. Борьба в американской душе принципа равенства между людьми и расовой дискриминацией заслуживает понимания. Фактически, главная причина недовольства европейскими левыми Соединенными Штатами состоит в том, что последние добились успеха теми средствами, которые не заложены в революционном коде. Прогресс, власть, стремление к единообразию экономических условий — эти результаты были достигнуты путем частной инициативы, путем соревнования, а не государственным вмешательством, иными словами — путем капитализма, которого каждый правильно воспитанный интеллектуал обучен презирать.

Это — эмпирический успех; американское общество не воплощает никакой исторической идеи. Простые, скромные идеи, которые оно продолжает культивировать, вышли из моды в Старом свете. Соединенные Штаты сохраняют оптимизм в стиле Европы XVIII столетия: они верят в возможность улучшения человеческого жребия; они не доверяют власти, которая развращает; они все еще в основном враждебны к авторитету, к претензиям немногих на то, что они лучше знают все ответы, чем обычный человек. Здесь нет места революции или пролетариату — только экономической экспансии, профсоюзам и конституции.

Советский Союз ликвидирует и подчиняет интеллектуалов, но он, по крайней мере, принимает их всерьез. Именно интеллектуалы дали Советскому режиму грандиозную и двусмысленную доктрину, из которой бюрократы сде-

ляли государственную религию. Даже сегодня, обсуждая классовые конфликты или производственные отношения, они одновременно смакуют прелесть теологического аргумента, аскетическое удовольствие научного противопоставления и экстатический трепет размышлений о всеобщей истории. Анализ американской действительности никогда не доставит столь редких удовольствий, как эти. Соединенные Штаты недостаточно преследуют своих интеллектуалов, чтобы испытать, в свою очередь, смутные наслаждения террора; немногим из них они временно дают престиж и славу, которые могут поспорить с престижем и славой звезд кино или бейсбола, но оставляют большинство из них в тени. Для интеллигенции преследования терпимее, чем безразличие.

К жалобе на безразличие присоединяется еще одна, лучше обоснованная: цена экономического успеха часто кажется слишком высокой. Зависимость от индустриальной цивилизации, жесткость межчеловеческих отношений, власть денег, пуританские элементы в американском обществе — все это оскорбляет чувства интеллектуала, воспитанного в европейской традиции. Торопясь сделать несправедливый вывод, он присваивает реальности или, скорее, словам, которые ему не нравятся, цену (которая, похоже, неизбежна, и, вероятно, имеет меняющуюся во времени величину) экономического прогресса и улучшения условий жизни рабочих. Массовые журналы и периодика или продукция Голливуда сравнивается с лучшими произведениями литературы, которыми наслаждается привилегированное меньшинство, а не с интеллектуальной жвачкой, которая производилась для простого человека. Уничтожение частной собственности на средства производства не изменит вульгарности кино- или радиопродукции.

И в этом тоже интеллектуалы настроены более антиамерикански, чем широкая публика, которая, по крайней мере, в Англии, не горит желанием обходиться без американских фильмов. Но почему интеллектуалы не признаются себе, что их меньше интересует уровень жизни рабочего класса, чем утонченность искусства и жизни? Почему они так цепляются за демократический жаргон, когда на самом деле они пытаются защитить подлинно аристократические ценности против вторжения человеческих масс и массовой продукции?

Ад интеллектуалов

Коммуникация между французскими и американскими интеллектуалами затруднена еще и тем, что их ситуации диаметрально противоположны.

В Америке больше выпускников университетов или профессиональных писателей, чем во Франции — как в абсолютных, так и в относительных цифрах — так как их число растет по мере экономического прогресса. Но типичный представитель американской интеллигенции — не ученый или писатель,¹⁰ а эксперт — экономист или социолог. Американцы связывают свои надежды с техником, а не с культурным человеком. Влияние разделения труда продолжает расширяться, даже в литературе. Отличается ли лестница престижа, на которой располагаются различные интеллектуальные профессии,

¹⁰ А среди ученых и писателей профессора играют более важную роль в обсуждении идей, чем романисты — ситуация, прямо противоположная французской.

по ту сторону Атлантики от того, какова она в Великобритании? Без тщательного исследования трудно ответить на этот вопрос сколь-нибудь уверенно. Иерархия, которую в любом случае трудно установить, вероятно, варьируется для разных групп внутри страны. Тем не менее, простым глобальным фактом остается то, что романист или философ, занимающий центральное положение во Франции, не накладывает печать своей личности или своего словаря на американскую интеллигенцию.

Если левобережный Париж — это рай для писателя, Соединенные Штаты можно было бы счесть его адом. И все же формулу «Назад в Америку» можно поставить эпиграфом к истории американской интеллигенции последних пятнадцати лет. Франция возвеличивает свою интеллигенцию, которая отрицает и презирает ее; Америка не делает уступок своим интеллектуалам, которые, несмотря на это, боготворят ее.

В обоих случаях мотив, похоже — один и тот же: французская интеллигенция реагирует на унижение своей страны, американская — на величие своей, но обе остаются преимущественно националистическими, одна — страстно желая реванша, другая — сплачиваясь вокруг победного флага. Забавно, но один и тот же 1953 год отмечены вспыхкой полемики о «яйцеголовых» в Соединенных Штатах и появлением статьи «Америка и интеллектуалы» в *Partisan Review*. Последняя вскрывала обращение профессиональных мыслителей в патриотизм «Большого американца», первая — скрытую враждебность важной части общественного мнения к людям идей.

Слово «яйцеголовый» имеет туманное происхождение, но оно снискало поразительный успех. За несколько дней оно обошло все Соединенные Штаты: все ежедневные или еженедельные газеты, все журналы опубликовали статьи за или против яйцеголовых. Конечно, аргумент был неотделим от предвыборной компании: утверждалось, что окружение Эдлая Стивенсона состоит из типичных представителей яйцеголовых и республиканцы искали случая скомпрометировать демократического кандидата, отождествив его с ними. Поскольку полемику вели журналисты или писатели — в социологическом смысле слова не меньшие интеллектуалы, чем те, кого они обличали — требуется точно установить, какие именно особенности превращают писателя или ученого в достойного презрения «яйцеголового».

Можно, конечно, для удобства позаимствовать определение из позднего творчества Луи Бромфилда — самого интеллектуального из антиинтеллектуалов. «Человек фальшивых интеллектуальных устремлений, часто профессор или протеже профессора. Фундаментально неосновательный. Сверхэмоциональный и женственный в реакциях на любую проблему. Выскомерный и преисполненный самомнения и презрения к опыту более здравых и способных людей. Существенно путанный в мыслях и погруженный в мешанину из сентиментальности и неистового евангелизма. Доктринерствующий поборник средневропейского социализма в противовес греко-франко-американским идеям демократии и либерализма. Подверженный старомодной философской морали Ницше, которая часто приводит его в тюрьму или к бесчестью. Застенчивый педант, настолько приверженный изучению всех сторон дела, что окончательно запутывается, ни в чем не продвинувшись ни на шаг. Анемичное кровоточащее сердце».

В этом определении суммированы классические обвинения против интеллектуалов. Они претендуют на большую компетентность по сравнению с простыми смертными, но на самом деле они менее компетентны. Им недостает мужественности и решительности. Всматриваясь в каждый аспект проблемы, они теряют способность схватывать существо дела и принимать решение. (Намеки на гомосексуальность представляют крайнюю форму этого аргумента). Наконец, центральноевропейский социализм с его доктринерством резюмирует идеологию «яйцеголового», который увлечен разбавленным марксизмом и расчищает дорогу коммунизму.

Полемика этого вида ни в коем случае не ограничена Соединенными Штатами. «Визионеры», «мечтатели», «словоблуды», «некомпетентные и оторванные от реальности идеалисты» — вот классические обвинения, которые буржуазный *отец семейства* бросает своему сыну, желающему сделать карьеру в литературе или искусстве; эти фразы немедленно приходят на ум политику или бизнесмену всякий раз, когда писатель или ученый дерзает критиковать его поведение.

Американская полемика, тем не менее, имеет свои определенные уникальные черты. Люди действия в современной Франции так обеспокоены демонстрацией своего уважения к интеллектуальным ценностям, что они не посмели бы открыто высказывать подобные суждения. Намеки на немужественность или гомосексуальность, хотя и известны по эту сторону Атлантики, здесь не производят большого впечатления: их считают вульгарными и грубыми. Еще лучше характеризует американский климат то, как оскорбление интеллектуалов как класса сочетается с критикой тех, кого мы называем левыми интеллектуалами, а Луи Бромфилд — «либералами».

Последние рассматриваются как предатели единой и единственно верной американской традиции, либерализма «Вольтера и Энциклопедистов, таких людей, как Джефферсон, Франклин и Монро, Линкольн, Гровер Кливленд и Вудро Вильсон». Все ложные либералы происходят от психопата по имени Карл Маркс; их интересуют не идеалы, а материальная безопасность, они покупают голоса посредством субсидий и пособий «таким же точно образом, который ускорил падение Рима, Константинополя и Великобритании». Они прожектеры; они верят в свою собственную мудрость, но не в мудрость простого человека; они не коммунисты, но их мысли путаны и они позволили себя обмануть сталинистам в Ялте и Потсдаме.

Маккартизм тоже, конечно, атакует левых интеллектуалов за «неамериканизм», за то, что они — достойные презрения ученики Карла Маркса, виновные в проникновении средневропейского социализма в страну Джефферсона и Линкольна. Он тоже ставит в один ряд прожектерство и гомосексуальность и предлагает доктринеру государства благосостояния отведать одиозности международного коммунизма — или потому, что он придерживается его ложных теорий, или потому, что он способствует его деятельности, или же — потому, что, сознательно или бессознательно, он работает на ту же самую цель.

Этот антилиберальный конформизм (в американском смысле слова «либеральный») представляет собой отложенную реакцию против левого конформизма 1930-х годов, когда большинство интеллектуалов верили в реальное существование единения или солидарности между противниками трестов,

защитниками социального законодательства и большевиками. Они «защищали и иллюстрировали» это единство левых или, иначе, прогрессивного движения в период второй Мировой войны даже больше, чем этого требовали нужды альянса с Советским Союзом; и, насколько это было возможно, они отказывались верить в вину Алджера Хисса. Большинство людей, поддавшихся привлекательности коммунизма двадцать лет назад, пришли из буржуазии и интеллигенции и только меньшинство — из рабочих или угнетенных меньшинств.¹¹

Более того, европейский интеллектуал, путешествующий по Соединенным Штатам, вряд ли обнаружит царство террора всемогущего маккартизма, но почти всюду, куда бы он ни поехал, встретит антимаккартистский конформизм. «Все» против знаменитого сенатора (единственное заметное исключение составляет Джеймс Бёрнхем, отказавшийся осудить отбившегося от рук Маккарти и поэтому исключенный из редакционного совета *Partisan Review*). К сожалению, «все», тем не менее, чувствуют себя в меньшинстве, смутно ощущают вину за прошлое заигрывание с коммунизмом и страх перед расхожим мнением, грозящим в одинаковой степени озлобить людей как против красных, так и против розовых и бледно-розовых — соответственно, коммунистов, социалистов и сторонников «Нового курса».

В американском университете всякий не антимаккартист осуждается его коллегами — хотя, разумеется, это не сказывается на его карьере. И в то же время эти же университетские профессора иногда стесняются высказаться публично по определенным вопросам, например, по поводу китайского коммунизма. Антимаккартистский конформизм странным образом сочетается с антикоммунистическим конформизмом. Ругая методы сенатора, люди спешат заявить, что питают к коммунизму не меньшее отвращение, чем он сам. Почти объединившееся против маккартизма, интеллектуальное сообщество все же ощущает дискомфортное чувство уязвимости. Часть американцев, не доверяющая экспертам, иностранцам и идеям, и представленная прессой Хёрста и Маккормика, считает себя преданной вчерашними лидерами и угрожает обратить свой гнев против профессоров, писателей и художников, ответственных как за оставление Восточной Европы русским армиям, поражение Чан Кай Ши, так и за огосударствление здравоохранения.

Пусть и обеспокоенные волной антиинтеллектуализма, эти интеллектуалы, тем не менее, совершенно лояльны к Соединенным Штатам. Старый свет потерял свой престиж и очарование: грубость и вульгарность некоторых аспектов американской жизни — ничто в сравнении с концентрационными лагерями нацистской Германии или Советского Союза. Процветание американской экономики — лучшая гарантия достижения целей, которые всегда защищал европейский левый интеллигент. Эксперты со всего мира приезжают в Детройт, чтобы найти секрет благосостояния. Во имя каких европейских ценностей интеллектуал мог бы повернуться спиной к американской

¹¹ Сравнительная неудача коммунистической пропаганды в среде американских негров — интересный феномен. Негр хочет быть стопроцентным американцем. Он нацелен на американский идеал, рассчитывая переодеть американскую действительность: он не выбирает путь революции.

реальности? Шарм и культура, раздавленные машиной и замаранные фабричным дымом? Ностальгия по доиндустриальному порядку, конечно, подталкивает некоторых ученых и писателей предпочесть французский образ жизни американскому. Но как посмотрит на эту привилегированную роскошь большинство? Сочтет ли оно цену, которую надо платить за эту роскошь, приемлемой? Не готовы ли сами европейцы пожертвовать ей ради большей производительности и принять любое количество американизма ради повышения уровня жизни масс? С точки зрения Соединенных Штатов социалистическое планирование — быстрая индустриализация из-под кнута Коммунистической партии, единственного хозяина страны — приводит скорее к преумножению, чем к уменьшению зла технологической цивилизации.

Некоторые американские интеллектуалы остаются верными традиции антикоммунизма и одновременно нападают на законы, тресты, маккартизм и капитализм. Но и этот антиконформизм не лишен определенного конформизма, так как он возрождает повестку дня вчерашнего воинствующего либерализма. Сегодняшние американские интеллектуалы находятся в поиске врагов. Некоторые из них сражаются с коммунизмом, другие — с маккартизмом, а третьи — с обоими, не считая тех, которые в отчаянии дошли до того, что критикуют антикоммунизм. Все они — крестоносцы в погоне за неверными, которых надо предать мечу.

* * *

Из всех стран Запада Великобритания, вероятно, относится к своим интеллектуалам разумнее всего. Как однажды Д. У. Броган заметил Алену: «Мы, британцы, не относимся к нашим интеллектуалам столь серьезно». Таким образом британцу удастся избежать как воинствующего антиинтеллектуализма, к которому время от времени имеет тенденцию приводить американский прагматизм, так и некритического восхищения, которое во Франции выказывают в равной мере романам и политическим суждениям писателей, рождая в них чрезмерное чувство своей собственной важности и склоняя их увлекаться крайними суждениями и саркастическими статьями.

Верно, что вплоть до второй Мировой войны прием в государственные школы и университеты осуществлялся таким образом, что правящий класс не испытывал трудностей с ассимиляцией новых членов. Диссиденты атаковали и высмеивали социальный конформизм, серьезно не потрясая его. Конфликты интересов внутри привилегированного класса не ставили под сомнение ни конституцию, ни политическую систему. Интеллектуалы вырабатывали доктрины, инспирировавшие реформы, не давая массам почувствовать вкус революционного насилия. Реформы двух последних десятилетий значительно увеличили число студентов университетов и расширили их социальную базу. Левый интеллектуал, автоматически принимающий сторону будущего против прошлого, испытывая своего рода чувство солидарности со всеми революционерами мира, управляет частью еженедельной прессы, но по-прежнему сохраняет связи со своей страной. Он выказывает не меньшую привязанность к британским парламентским институтам, чем нелюбимые им консерваторы. Он оставляет выгоды Народного Фронта иностранцам, будучи защищен

от них слабостью Британской коммунистической партии. Он бы с готовностью признал, что сила коммунизма в каждой стране обратно противоположна заслугам режима.

Таким образом, признав законность коммунизма во Франции, Италии или Китае, он отдал бы дань превосходству британской парламентской системы и заявил бы о себе как о хорошем патриоте, а не только как о хорошем интернационалисте. Француз мечтает о международном примирении посредством обращения всех нефранцузов к Франции. У англичанина есть искушение верить, что никто за границами его счастливого острова не достоин играть в крикет или в парламентские игры. Это — странная смесь надменности и скромности, которая, вероятно, дает свои плоды: люди в Индии, Африке и где-то еще, образованные и эмансипированные британцами, будут продолжать играть в крикет и парламентские игры.